



В. Г. БЕЛИНСКИЙ

Россия до Петра Великого

СТАТЬЯ II

Россия тьмой была покрыта много лет:
Бог рек: да будет Петр — и бысть в России свет!
Старинное двустиише

Борода принадлежит к состоянию дикого человека; не брить ее то же, что не стричь ногтей. Она закрывает от холоду только малую часть лица: сколько же неудобности летом, в сильный жар! сколько неудобности и зимою, носить на лице иней, снег и сосульки! Не лучше ли иметь муфту, которая греет не одну бороду, но все лицо? Избирать во всем лучшее есть действие ума просвещенного; а Петр Великий хотел просветить ум во всех отношениях. Монарх объявил войну нашим старинным обыкновениям, во-первых, для того, что они были грубы, недостойны своего века; во-вторых, и для того, что они препятствовали введению других, еще важнейших и полезнейших иностранных новостей. Надлежало, так сказать, свернуть голову закоренелому русскому упрямству, чтобы сделать нас гибкими, способными учиться и перенимать...

.....

Все жалкие *церемиады* об изменении русского характера, о потере русской нравственной физиономии или не что иное, как шутка, или происходят от недостатка в основательном размышлении. Мы не таковы, как брадатые предки наши: тем лучше! Грубость, наружная и внутренняя, невежество, праздность, скука были их долею и в самом высшем состоянии: для нас открыты все пути к утончению разума и к благородным душевным удовольствиям.

Карамзин. Письма русского путешественника,
т. III, стр. 165–167.

Для России наступает время сознания. Несмотря на холодность и равнодушие, в которых мы, русские, не без причины упрекаем себя, — у нас уже не довольствуются общими местами и истертыми понятиями, но хотят лучше ложно и ошибочно судить, нежели повторять готовые и на веру или по лености и апатии принятые суждения. Так, например, многие, не слыша новых суждений

о Пушкине и сомневаясь в справедливости давно высказанных и устаревших, сомневаются и в поэтическом величии Пушкина. И это явление отрадно: оно есть выражение потребности самостоятельной мыслительности, потребности истины, которая прежде и выше всего, даже самого Пушкина. *Amicus Plato, sed magis arnica Veritas*¹ — премудрое изречение! Что истинно велико, то всегда устоит против сомнения и не падет, не умалится и не затмится, но еще более укрепится, возвеличится и просветится от сомнений и отрицания, которые суть первый шаг ко всякой истине, исходный пункт всякой мудрости. Сомнения и отрицания боится одна ложь, как боялся воды поддельные цветы и неблагородные металлы. Мы не раз уже повторяли эту истину, говоря о людях, отрицающих великость Пушкина как поэта. Мы думаем диаметрально противоположно с такими людьми; но, если их мнение выходит не из каких-нибудь внешних и предосудительных причин, мы готовы с ними спорить ради истины и уверены, что только через такие споры явится истина и войдет в общее сознание, сделается общим убеждением. Тем более мы далеки от того, чтоб смотреть на таких людей, как на раскольников, на искажителей истины, оскорбителей памяти великого поэта и чувства национальной гордости. Скажем более: мы понимаем, что могут быть и такие отрицатели гения Пушкина, которые в тысячу раз достойнее уважения многих безусловных почитателей славы великого поэта, повторяющих чужие слова. Явление таких отрицателей обнаруживает не холодность общества к истине, но скорее рождающуюся любовь к ней: ибо безусловное признание чего-нибудь без рассуждения, без проверки разумом, скорее, чем сомнение и отрицание, есть признак апатического равнодушия общества к делу истины. Нет, явление таких отрицателей в молодом обществе есть признак рождающейся мыслительной жизни. В безусловном уважении к авторитетам и именам иногда действительно выражается и любовь и жизнь, но любовь и жизнь бессознательная, простодушная, детская. Смешно же требовать или желать, чтобы общество неподвижно оставалось в состоянии детства, когда этого не требуют и не желают от человека, а если он, вопреки законам развития, останется навек ребенком, то презирают его, как идиота. Говорят, что сомнение подрывает истину: ложная и безбожная мысль! Если истина так слаба и бессильна, что может держаться не сама собою, но охранительными кордонами и карантинами пробив сомнения, то почему же она истина, и чем же она лучше и выше лжи, и кто же станет ей верить? Говорят: отрицание убивает верование. Нет, не убивает, а очищает его. Правда, сомнение и отрицание бывают верными признаками нравственной смерти целых, на-

родов; но каких народов? — устаревших, изживших всю жизнь свою, существующих только механически, как живые трупы, подобно византийцам или китайцам. Но может ли это относиться к русскому народу, столь юному, свежему и девственному, столь могучему родовыми, первосущными стихиями своей жизни, — народу, который с небольшим во сто лет своей новой жизни, воззванный к ней творящим глаголом царя-исполина, проявил себя и в великих властителях, и в великих полководцах, и в великих государственных мужах, в великих ученых, и в великих поэтах; народу, который во сто лет своей новой жизни уже составил себе великое прошлое, «полный гордого доверия покой» в настоящем, по выражению поэта, и которого ожидает еще более великое, более славное будущее? Нет, мы унизили бы свое национальное достоинство, если бы стали бояться духовной гимнастики, которая во вред только хилым членам одряхлевшего общества, но которая в крепость и силу молодому, полному здоровья и рьяности обществу. Жизнь проявляется в сознании, а без сомнения нет сознания, так же как для тела без движения невозможно отправление органических процессов и жизненного развития. У души, как и у тела, есть своя гимнастика, без которой душа чахнет, впадая в апатию бездействия.

В предыдущей статье мы говорили о том, как мало *сделано* у нас для истории Петра Великого и как много *наговорено* о Петре. В самом деле, ему писали похвальные слова, его прославляли и в стихах и в прозе. Ломоносов сделал его даже героем эпической поэмы, на манер «Энеиды». В подражание достохвальному и почтенному по цели своей труду Ломоносова, два другие поэта — Грузинцев и Шихматов-Ширинский — с неменьшим успехом — воспели Петра в лиро-эпических поэмах. Но все это, и хорошее и посредственное, как-то не шевелило души. С почтенными авторами все соглашались безусловно в похвалах Великому, но читали их мало или совсем не читали. Причиною тому было, что все эти господа сочинители и писали и пели как-то на один манер и на один голос, и в форме их фраз заметно было какое-то утомительное однообразие, свидетельствовавшее об отсутствии содержания, то есть мысли. Самые жаркие похвалы, самые восторженные излияния удивления к Великому отличались каким-то официальным характером. Так продолжалось до времен Пушкина, который один, как великий поэт и выразитель народного сознания, умел говорить о Петре языком, достойным Петра. Но в сочинениях ученого содержания говорилось все по-старому, с тою только разницею против прежнего времени, что возбуждало уже не холодное согласие, а скорее досаду. Наконец, несколько лет назад, начали появляться

какие-то темные сомнения в безусловной непогрешительности главного дела Петра — преобразования России. Говорили, что здание этого преобразования было построено без фундамента, ибо начато было сверху, а не снизу, что оно состояло в одних внешних формах и, не привив к нам истинного европеизма, только исказило нашу народность и обрезало крылья национальному гению. Далее, в нашей статье, мы коснемся этих возражений, как ни поверхностны и ни пусты они в своей сущности; но теперь скажем только, что в минуту их появления в печати они многим полюбились и обратили на себя общее внимание. Одни как будто увидели в них собственное мнение, до того самим им неясное; другие, не соглашаясь с ними, все-таки увидели в них не общие фразы и надутые возгласы, а самостоятельное и притом новое мнение, и некоторые даже удостоили их энергических, хотя и косвенно сделанных возражений. Итак, сомнение, вместо того чтобы охладить к Петру, только усилило общий интерес к нему, как великому историческому явлению, заставило всех больше и думать, и говорить, и писать о нем. Но время скоро решило вопрос и неосновательность сомнений: теперь уже только люди, живущие задним числом, могут не шутя упрекать Петра, зачем он начал свое преобразование сверху, а не снизу, с вельмож, а не с мужиков, зачем придавал большую важность формам — одежде, брандобритию и пр., зачем построил Петербург и т. п. Итак, сомнение не принесло никакого вреда, а только принесло пользу, ибо, проявившись, уничтожило себя самим же собою и повело к другому сомнению, более основательному, которое, в свою очередь, минет и уступит место если еще не истине, то третьему сомнению, которое приведет уже к истине. Теперь вопрос о Петре перешел в явное противоречие: многие, почитая преобразования Петра столько же необходимым, сколько и великим, благоговая перед памятью преобразователя, в то же время уничтожают, сами того не замечая, всю великость его дела, отрицая европеизм и усиливаясь не только отстоять и оправдать историческое развитие и народность, уничтоженные Петром, но и противопоставить и даже возвеличить их пред европеизмом. Как ни странно это противоречие, но оно есть уже шаг вперед и выше прежнего утвердительного сомнения, хотя и вышло прямо из него: лучше явно противоречить себе и тем как бы невольно признавать власть истины, нежели, ради любимого и одностороннего убеждения, отвергать и прямо закрывать глаза на фактическую достоверность противоречащих доказательств.

Противоречие, о котором мы говорим, чрезвычайно важно: в его приминении заключается истинное понятие о Петре Великом. Одно уже это указывает на разумность этого противоречия. Решение

задачи состоит в том, чтобы показать и доказать: 1) что хотя народность и тесно соединена с историческим развитием и общественными формами народа, но что то и другое совсем не одно и то же; 2) что преобразование Петра Великого и введенный им европеизм нисколько не изменили и не могли изменить нашей народности, но только оживили ее духом новой и богатейшей жизни и дали ей необъятную сферу для проявления и деятельности.

В русском языке находятся в обороте два слова, выражающие одинаковое значение: одно коренное русское — *народность*, другое латинское, взятое нами из французского — *национальность*. Но мы крепко убеждены, что ни в одном языке не может существовать двух слов, до того тождественных в значении, чтобы одно другое могло совершенно заменять и, следовательно, одно другое делать совершенно лишним. Тем менее возможно, чтобы в языке удержалось иностранное слово, когда есть свое, совершенно выражающее то же самое понятие: в их значении непременно должен быть оттенок, если не разница большая. Так и слова *народность* и *национальность* только сходственны по своему значению, но отнюдь не тождественны, и между ними есть не только оттенок, но и большое различие. «Народность» относится к «национальности», как видовое, низшее понятие к родовому, высшему, более общему понятию. Под *народом* более разумеется низший слой государства: *нация* выражает собою понятие о совокупности всех сословий государства. В *народе* еще нет нации, но в нации есть и народ. Песня Кирши Данилова есть произведение народное: стихотворение Пушкина есть произведение национальное: первая доступна и высшим (образованнейшим) классам общества, но второе доступно *только* высшим (образованнейшим) классам общества и не доступно разумению народа, в тесном и собственном значении этого слова. Образованный вельможа нашего времени понимает и речи, и дела, и образ жизни своего бородатого предка времен допетровых; но если бы его предок встал из могилы, — он не понял бы ничего в жизни своего обритого потомка. Всякий образованный человек нашего времени, как ни удален он формами и даже сущностью своей жизни от народа, — хорошо понимает мужика, не унижаясь до него, но мужик может понимать его или возвысившись до него, или когда тот унижится до его понятия. Между тем иностранец, не в России родившийся и воспитывавшийся, не поймет русского мужика, хотя бы и столько знал русский язык, что был бы в состоянии составить себе имя в русской литературе. Следовательно: между нашим прошедшим и нашим настоящим, между вельможею в охабне и с окладистой бородою и вельможею во фраке и с выбритым подбородком, между мужи-

ком, мещанином и брадатым купцом и между так называемым *барином* (в смысле европейски образованного человека) есть нечто *общее*. Но это общее есть совсем не *народность*, а *национальность*; последняя свободно разумеет первую (ибо, как высшее, заключает ее в себе), но, чтоб говорить понятным языком с первой, должна наклоняться до нее. Полное владычество народности необходимо предполагает в государстве состояние естественной непосредственности, состояние патриархальности, когда различие в сословиях заключается даже и не в формах, а только в оттенках форм, но уже нисколько не в сущности. В таком состоянии была Россия до Петра Великого. Прочтите Кошихина, — и вы увидите, что, как женился последний деревенский мужик, так женился и первый боярин: разница заключалась в обилии яств, в ценности платья, словом, в важности и количестве издержек. Один и тот же кнут тяготел и над мужиком и над боярином, и для обоих их он был несчастьем, а не бесчестьем. Холоп легко понимал своего боярина, не усиливаясь подняться ни на волос своими понятиями; боярин понимал своего холопа, не имея нужды приноравливаться к его разумению. Та же горелка веселила сердце того и другого: разница была в том, что один пил полугар, а другой — чистый пенник. Один и тот же мед был услаждением для того и другого: разница состояла в том, что один пил его из деревянного стакана или железного ковши, а другой из серебряной или золотой стопы. И вдруг все так быстро и так круто переменялось волею Петра; как мало понимал русский простолюдин слова: *виктория*, *ранг*, *армия*, *генерал-аншеф*, *адмирал*, *гофмаршал* и пр., — так мало понимал он и язык и дела не только своего государя или вельмож, но и всякого армейского офицера с его *гонором*, его *менуемом*, его *рейтузами* и прочим. Высшее по-прежнему понимало низшее, но низшее перестало понимать высшее. Народ отделился от бар и солдат. Но в государственном смысле народа уже не было — была нация. Иностранное слово это сделалось необходимо и бессознательно вошло в общее употребление и получило право гражданства в словаре русского языка.

Сущность всякой национальности состоит в ее *субстанции*. Субстанция есть непреходимое и вечное в духе народа, которое, само не изменяясь, выдерживает все изменения, целостно и неврединно проходит чрез все фазисы исторического развития. Это зерно, в котором заключается всякая возможность будущего развития. Смотри на желудь, мы знаем не то, что из него непременно выйдет огромный столетний дуб, но что из него может выйти огромный вековой дуб, а не яблоня, если он будет посажен, и не срубится прежде времени или не погибнет от дру-

гих случайных обстоятельств, которые могли бы помешать его свободному развитию. И мы знаем это потому, что в желуде заключается субстанция дуба, то есть возможность его толстого ствола, широких листьев и других признаков, свойственных его форме. Смотря на грудного ребенка, мы знаем, что из него может сделаться со временем не только кипящий избытком физических и духовных сил юноша, но и дряхлый, седовласый старец, и даже не просто взрослый, но и гениальный человек. Ибо в младенце, в сокровенных тайниках самого его организма, заключается уже его субстанция, то есть возможность всего того, чем он может быть впоследствии, чем он назначен природою быть со временем. Хорошим солдатом или хорошим офицером может быть почти всякий; но великим полководцем может быть только тот, в чьей субстанции от рождения лежала возможность быть великим полководцем. В субстанции заключается причина, почему один может быть великим поэтом и не может быть даже посредственным математиком, а другой в состоянии изобрести паровые машины и не в состоянии сварить себе горшка щей или зашить дыру на платье. Каждый народ имеет свою субстанцию, как и каждый человек, и в субстанции народа заключается вся его история и его различие от других народов. Субстанция римлян была совсем другая, чем субстанция греков, и потому римляне — по преимуществу народ гражданского права и не созерцательный, а чисто практический народ, а греки по преимуществу народ деятельно-созерцательный и артистический. Как бывают гениальные субстанции у отдельных личностей, так и некоторые народы возникают с великими субстанциями и относятся к другим народам, как гении к обыкновенным людям.

Народность, как мы уже показали выше, предполагает что-то неподвижное, раз навсегда установившееся, не идущее вперед; показывает собою только то, что есть в народе налицо, в настоящем его положении. Национальность, напротив, заключает в себе не только то, что было и есть, но что будет или может быть. В своем развитии национальность сближает самые противоположные явления, которых, по-видимому, нельзя было ни предвидеть, ни предсказать. Народность есть первый момент национальности, первое ее проявление. Но из сего отнюдь не следует, чтобы там, где есть народность, не было национальности: напротив, общество есть всегда *нация*, еще и будучи только *народом*, но нация в возможности, а не в действительности, как младенец есть взрослый человек в возможности, а не в действительности: ибо национальность и субстанция народа есть одной то же, а всякая субстанция, еще и не получивши своего определения, носит в себе его возможность.

Итак, Россия до Петра Великого была только народом и стала нацией, вследствие толчка, данного ей ее преобразователем. Из ничего не бывает ничего, и великий человек не творит своего, но только дает действительное существование тому, что прежде него существовало в возможности. Что все усилия Петра были направлены против русской народности² — это ясно, как день божий; но чтобы он стремился уничтожить наш субстанциальный дух, нашу национальность — подобная мысль более чем неосновательна: она просто нелепа. Правда, если бывают народы с великими субстанциями, то бывают народы и с ничтожными субстанциями, и если первые неизменимы и не подвластны воле одного человека, как бы ни был он могуществен, то вторые могут уничтожаться даже от случайностей, даже сами собою, не только волею гения; но зато из этих вторых никакой гений ничего и сделать не может: лучшее, что можно сделать из свекловицы, — это голову сахару; но только из граниту, мрамору и бронзы можно создать вековечный памятник. Если бы русский народ не заключал в духе своем зерна богатой жизни, — реформа Петра только убила бы его насмерть и обессилила, а не оживила и не укрепила бы новою жизнью и новыми силами. Мы уже не говорим о том, что из ничтожного духом народа и не мог бы выйти такой исполин, как Петр: только в таком народе мог явиться такой царь, и только такой царь мог преобразовать такой народ. Если бы у нас и не было ни одного великого человека, кроме Петра, и тогда бы мы имели право смотреть на себя с уважением и гордостью, не стыдиться нашего прошедшего и смело, с надеждою смотреть на наше будущее...

Отчего у одного народа такая субстанция, у другого иная, — это почти так же невозможно решить, как и если бы дело шло об отдельном человеке. Если принять гипотезу, что народы образовались из семейств, — то первую причину их субстанции должно положить кровь и породу (*гасе*), Внешние обстоятельства, историческое развитие также имеют влияние на субстанцию народа, хотя, в свою очередь, и сами зависят от нее. Но нет ни одной причины, на которую бы так смело можно было указать, как на климат и географическое положение страны, занимаемой народом. Все южные народы резко отличаются от северных: ум первых живее, легче, яснее, чувство восприимчивее, страсти воспламеняемее; ум вторых медленнее, но основательнее, чувство спокойнее, но глубже, страсти воспламеняются труднее, но действуют тяжелее. В южных народах преобладает непосредственное чувство, в северных — дума и размышление; в первых больше подвижности, во вторых больше деятельности. В последнее время Север далеко оставил за собою Юг в успехах искусства, науки

и цивилизации. Есть большое различие между народами горными и народами долинными, между народами приморскими, или островитянами, и между народами, отдаленными от моря, И это различие не внешнее, но внутреннее; оно замечается в самом духе, а не в одних формах. Взглянем в этом отношении на Россию. Колыбель ее была не в Киеве, но в Новгороде, из которого, через Владимир, перешла она в Москву. Суровое небо увидели ее младенческие очи, разгульные вьюги пели ей колыбельные песни, и жестокие морозы закалили ее тело здоровьем и крепостию. Когда вы едете зимою на лихой тройке и снег трещит под полозьями ваших саней, морозное небо усеяно мириадами звезд и взор ваш с тоскою теряется на необъятной снежной равнине, осеребренной уединенным скитальцем-месяцем, местами прерываемой покрытыми инеем деревьями, — как понятна покажется вам протяжная, заунывная песня вашего ямщика, и как будет гармонировать с нею однообразный звон колокольчика, *надрывающий сердце*, по выражению Пушкина!³ Грусть есть общий мотив нашей поэзии — и народной и художественной. Русский человек в старину не умел шутить забавно и весело, он шутил или плоско, или саркастически, и лучшие народные песни наши — грустного содержания, протяжного и заунывного напева. Нигде Пушкин не действует на русскую душу с такою неотразимою силою, как там, где поэзия его проникается грустию, и нигде он столько не национален, как в грустных звуках своей поэзии. Вот что говорит он сам о грусти, как основном элементе русской поэзии:

Фигурно иль буквально: всей семьей,
От ямщика до первого поэта,
Мы все поем уныло. Грустный вой
Песнь русская. Известная примета!
Начав за здравие, за упокой
Сведем как раз. Печалию согрета
Гармония и наших муз и дев.
Но нравится их жалобный напев⁴.

Но эта грусть — не болезнь слабой души, не дряблость немощного духа; нет, эта грусть могучая, бесконечная, грусть натуры великой, благородной. Русский человек упивается грустью, но не падает под ее бременем, и никому не свойственны до такой степени быстрые переходы от самой томительной, надрывающей душу грусти к самой бешеной, исступленной веселости! И в этом случае поэзия Пушкина великий факт: нельзя довольно надивиться ее быстрым переходам в «Онегине» от этой глубокой грусти, источник которой есть бесконечное духа, к этой бодрой и могучей веселости, источник которой есть крепость и здоровость духа.

Итак, вот уже мы и нашли общее, которое связывает нашу народную поэзию с нашею художественною, национальною поэзиею. Следовательно, родовое, субстанциональное начало в нас не подавлено реформою Петра, но только получило через нее высшее развитие и высшую форму. И в самом деле, разве со времен Петра пространство России сузилось, а не расширилось, разве степи наши не так же просторны и раздольны, снега, их покрывающие, не так же белы и не так же серебрят их унылый свет месяца?.. Какие хорошие свойства русского человека, отличающие его не только от иноплеменников, но и от других славянских племен, даже находящихся с ним под одним скипетром? — Бодрость, смелость, находчивость, сметливость, переимчивость — на обухе рожь молотит, зерна не обронит, нуждою учится калачи есть, — молодечество, разгул, удалство, — и в горе и в радости море по колено! Но разве европеизм может изгладить эти коренные, *субстанциальные* свойства русского народа? Разве образованный русский человек теперь не так же, как и прежде, *размашист* и в горе и в радости и не родной брат тому, который некогда, приложив руку к уху, певал богатырским голосом на весь божий мир:

Высота ли, высота поднебесная,
Глубота ли, глубота океан-море,
Широко раздолье по всей земле,
Глубоки омуты днепровские⁵.

Смешно думать, что европеизм есть какой-то уровень, все сравнивающий, сглаживающий, подводящий под один цвет. Англичанин, француз, немец, голландец, швейцарец — все они равно европейцы, во всех них есть много общего, но национальные различия их непримиримо резки, и никогда не изгладятся: для этого нужно было бы сперва уничтожить их историю, изменить природу их стран, переродить самую кровь их.

Национальность нельзя характеризовать и в целой книге, не только в журнальной статье, особенно национальность народа, который недавно начал жить и еще весь погружен в своем настоящем. Национальность есть совокупность всех духовных сил народа: плод национальности народа есть его история. И потому мы не беремся высказать полно и удовлетворительно, в чем именно заключается русская национальность — довольно с нас и намекнуть на это. Но мы, не обинуясь, можем сказать, что национальность состоит не в лаптях, не в армяках, не в сарафанах, не в сивухе, не в бородах, не в курных и нечистых избах, не в безграмотности и невежестве, не в лихоимстве в судах, не в лени ума⁶. Это не признаки даже и народности, а скорее наросты на ней — следствие

испорченности в крови, остроты в соках. И все это было в России до Петра Великого, и со всем этим, как с двенадцатиглавою гидрою, боролся наш божественный Иракл⁷ и одолел ее неотразимою палицею своего мощного гения. Говорить правду (особенно — которую все хорошо понимают и чувствуют) и оскорблять — не всегда одно и то же. Пусть боится правды глупый и пьяный; но умному не беда сознаться, что и он делывал промахи на своем веку, а трезвому, что и он бывал навеселе от вина. Национальная гордость есть чувство высокое и благородное, залог истинного достоинства; но национальное хвастовство и щекотливость есть чувство чисто китайское. Отрицание или унижение субстанции народа, национальности в истинном значении этого слова, есть оскорбление народа (*lesenation*); но нападки (даже преувеличенные) на недостатки и пороки народности есть не преступление, а заслуга, есть истинный патриотизм. Что я люблю всем сердцем, всею душою, всем существом моим, к тому я не могу быть равнодушен, в том я сильнее, чем в другом, люблю хорошее и (по тому же закону) сильнее ненавижу дурное. Наши квасные патриоты с особенною любовью имеют привычку указывать на англичан, которые любят отпускать национальные фарсы и до сих пор оставляют существовать некоторые варварские и нелепые обычаи дикой и невежественной старины, от набитого шерстью мешка, на котором сидит президент палаты, до права продавать на рынке жену свою⁸. Эти господа (т. е. квасные патриоты) любят подобными ссылками делать упреки равнодушию, с которым мы, русские, расстаемся с преданиями нашей длиннополой старины, и охотности, с которою мы принимаем и усваиваем все новое. Что до меня, — каюсь в грехе: я вижу в этом хорошую черту нашей национальности, залог нашего будущего величия и уж, разумеется, не унижения, а превосходства над англичанами, которые, впрочем, во всем другом великая нация, но только в этом не могут и не должны быть для нас примером, а сделали б лучше, если б нам подражали. Да, это великая черта русского народа: она показывает, что мы имеем способность и желание безусловно отрешаться от всего дурного; что же до хорошего, которое составляет основу и сущность нашего национального духа, — оно вечно, непреходяще, и мы не могли бы от него отрешиться, если б и захотели. Но мы более, нежели кто-либо другой, имеем возможность и право не стыдиться наших национальных недостатков и пороков и громко говорить о них. Национальные пороки бывают двух родов: одни выходят из субстанционального духа, как, например, политическое своекорыстие и эгоизм англичан; религиозный фанатизм и изуверство испанцев; мстительность и склонный к хитрости и коварству характер ита-

льянцев; другие бывают следствием несчастного исторического развития и разных внешних и случайных обстоятельств, как, например, политическое ничтожество итальянских народов. И потому одни национальные пороки можно назвать *субстанциальными*, другие — *прививными*. Мы далеки от того, чтобы думать, что наша национальность была верх совершенства: под солнцем нет ничего совершенного; всякое достоинство условливает собою и какой-нибудь недостаток. Всякая индивидуальность уже по тому самому есть ограничение, что она индивидуальность; всякий же народ — индивидуальность, подобная отдельному человеку. С нас довольно и того, что наши национальные недостатки не могут нас унижить перед благороднейшими нациями в человечестве. Что же до прививных, — чем громче будем мы о них говорить, тем больше покажем уважения к своему достоинству; чем с большею энергией) будем их преследовать, тем больше будем способствовать всякому преуспеянию в благе и истине. Внутренний порок есть болезнь, с которою родится нация, — отвержение которой иногда может стоить жизни; прививной порок есть нарост, который, будучи срезан, хотя бы и не без боли, искусною рукою оператора, ничего не лишает тело, а только освобождает его от безобразия и страдания. Недостатки нашей народности вышли не из духа и крови нации, но из неблагоприятного исторического развития. Варварские тевтонские племена, нахлынув на Европу бурным потоком, имели счастье столкнуться лицом к лицу с классическим гением Греции и Рима — с этими благородными почвами, на которых выросло широколиственное, величественное древо европеизма. Дряхлый, изнеможенный Рим, передав им истинную веру, впоследствии времени передал им и свое гражданское право; познакомя их с Виргилием, Горацием и Тацитом, он познакомил их с Гомером, и с трагиками, и с Плутархом, и с Аристотелем. Разделяясь на множество племен, они как будто столпились на пространстве, недостаточном для их многолюдства, и беспрестанно, так сказать, ударялись друг о друга, как сталь о камень, чтобы извлекать из себя искры высшей жизни. Жизнь России, напротив, началась изолированно, в пустыне, (чуждой) всякого человеческого и общественного развития. Первоначальные племена, из которых впоследствии сложилась масса ее народонаселения, занимая одинаково долинные страны, похожие на однообразные степи, не заключали в себе никаких резких различий и не могли действовать друг на друга в пользу развития гражданского общества. Богемия и Польша могли бы ввести Россию в соотношение с Европою и сами по себе быть полезны ей, как племена характерные; во их навсегда разделила с Россиею враждебная разность

вероисповеданий. Следовательно, от Запада она была отрезана в самом начале; а Византия, в отношении к цивилизации, могла подарить ее только обыкновением чернить зубы, белить лица и выкалывать глаза врагам и преступникам. Княжества враждовали между собою, но в этой вражде не было никакого разумного начала, и потому из нее не вышло никаких хороших результатов. Удивительно ли после этого, что история удельных междоусобий так бессмысленна и скучна, что ей не могло придать никакого интереса даже и красноречивое повествование Карамзина? Нахлынули татары и спаяли разрозненные члены России ее же кровью. В этом состояла великая польза татарского двухвекового ига; но сколько же сделало оно и зла России, сколько *привило* ей пороков! Затворничество женщин, рабство в понятиях и чувствах, кнут, привычка зарывать в землю деньги и ходить в лохмотьях, боясь обнаружиться богачом, лихоимство в деле правосудия, азиатизм в образе жизни, лень ума, невежество, презрение к себе, — словом, все то, что искоренял Петр Великий, что было в России прямо противоположно европеизму, — все это было не наше родное, но *привитое* к нам татарами. Самая нетерпимость русских к иностранцам вообще была следствием татарского ига, а совсем не религиозного фанатизма: татарин огадил в понятии русского всякого, кто не был русским, — и слово *басурман* от татар перешло и на немцев.

Что самые важнейшие недостатки нашей народности не суть наши существенные, кровные, но прививные недостатки, — лучшее доказательство то, что мы имеем полную возможность освободиться от них, и уже начинаем освобождаться. Обратим внимание на язву нашей народности — лихоимство. Конечно, грустное зрелище представляет собою дурно образовавшаяся общественность, истребляющая и подавляющая даже в своих благороднейших членах их личную человеческую доблесть тем, что ставит их в необходимость или быть выскочками, оскорбляющими всё общество, или, с пользою самим себе, без нарушения совести, как бы законно и только что не формально, кривить весами правосудия и расхищать государственные сокровища, вверенные их хранению и соблюдению. В Китае это называется «иметь выгодное место», и там всякий мандарин без зазрения совести говорит в обществе, что он «служит прибыльно», и, как основной догмат нравственности, завещает сыну прежде всего быть хорошим мужем и отцом, чтобы не пустить семейства по миру и не унижить своего чина и звания, а всем молодым людям пуще всего советует —

Учились бы, как делали отцы,
На старших глядя⁹.

Но что касается до нас, мы еще не имеем причины отчаиваться в этом пороке. В гнилом обществе нет выскочек, нет противоречия и противодействия общей испорченности: в Китае все взяточники, и человека, который вздумал бы восставать против лихоимства и подкреплять свое восстание безукоризненным поведением, сочли бы дураком и засадили бы на цепь в сумасшедший дом, но, к счастью мандаринов и моралистов, там и нет таких дураков, но всё одни *умные и благонамеренные* люди. У нас, напротив, благодаря преобразованиям Петра, не замедлила явиться оппозиция общему злу. К чести нашей литературы, — в ней в первой возникла эта благородная, благотворительная оппозиция. Муза Сумарокова объявила непримиримую войну подьячим и клеймила лихоимство и казнокрадство печатною позора и отвержения. Заметим мимоходом, что, в этом отношении, литературное направление Сумарокова было, так сказать, *жизненное* чисто риторического направления Ломоносова, — и вот причина, почему бездарный Сумароков был любимее, а даровитый Ломоносов — только уважаемее публикою своего времени¹⁰. «Ябеда» Капниста была сильным ударом *ябеде*. Нахимов составил себе громкое имя в литературе своего времени постоянным вдохновением против кривосудия. Хотя остроумие Фонвизина было устремлено преимущественно против невежества, но мимоходом доставалось от него порядком и сутяжничеству. В наше время «Ревизор» Гоголя явился истинным бичом этого порока, который, благодаря успехам просвещения и благотворным усилиям правительства, уже прячется в норы и только оттуда осмеливается, и то украдкой, высовывать свою неблагообразную и непристойную физиономию. Говоря о заслугах литературы святому делу преследования лихоимства бичом сатиры, нельзя не упомянуть и о Грибоедове: хотя его бессмертная комедия устремлена и не прямо против этой гидры стоголавой, но горящие клейма наложил он на ее бесстыдные лбы стихами, подобными следующим:

Как будешь представлять к крестишку иль местечку —
Ну, как не порадеть родному человечку!¹¹

И благородные усилия литературы не остались тщетными: общество отозвалось на них. Замечательно, что даже посредственные сочинения в этом духе и направлении всегда принимались нашею публикою с особенным восторгом, вместо того чтобы оскорблять ее. Наконец стали появляться люди, которые, уже не боясь прослыть за людей *беспокойных* и *опасных* и не стыдясь названия глупцов, гордецов, выскочек и мечтателей, говорят вслух, что

скорее готовы умереть с голоду, нежели богатеть воровством, — и с голоду не умирают, а если богатеют, то честными средствами. И хотя такие вольнодумцы являются не тысячами, но все-таки число их умножается со дня на день. До времен же Петра Великого их не бывало не только в действительности, но и в фантазии самых пылких людей. Следовательно, — общество наше идет вперед и, не теряя своей национальности, только расстается с дурною народностью. И уже близко то время, когда не останется и следов *такой* народности. А с чем можно расстаться, от чего можно отрешиться, — то не в крови, не в духе; то просто дурная привычка, приобретенная в дурном обществе. Только те пороки делают бесчестие нации, которые неистребимы, неисправимы.

Вообще все недостатки и пороки нашей общественности выходят из невежества и непросвещения: и потому свет знания и образованности разгоняет их, как восход солнца ночные туманы. Пороки китайца и персианина слиты с их духом: просвещение сделало бы их только утонченнее, коварнее и развратнее, но не благороднее. Просвещение действует благотельно только в таком народе, в котором есть зерно жизни. Мы уже представили самый разительный факт, как неопровержимое доказательство, что в русском обществе есть здоровое и плодотворное зерно жизни. Прибавим к этому, что многого можно надеяться от народа, который, после нарвского сражения, дал полтавскую и бородинскую битву, потряс турецкую империю¹² и, как сказал его великий поэт, «повалил в бездну кумир, тяготеющий над царствами, и кровью своею искупил ч свободу, честь и спокойствие Европы»...¹³ Едва пробудившись к жизни, он громом побед возвестил Европе о своем пробуждении; едва примкнувшись к Европе, он уже решил ее великое дело, дал ответ на мудреный вопрос...

Мы высказали наше задушевное мнение о вопросе щекотливом со всею искренностью и прямою свободною убеждения, и готовы так же ответить на всякое возражение, сделанное нам с такою же искренностью и прямою. Не только не уклоняемся от спора, но вызываем его ради большего уяснения столь близкой к сердцу всякого русского истины. Наше убеждение равно далеко и от мертвого космополитизма и от квасного патриотизма, — и такое убеждение смело может быть высказываемо в стране, где преследуется не свобода, а своеволие мысли. После этого мы можем прямее приступить к причинам, делавшим необходимою и коренною реформу Петра, не боясь быть ложно понятыми и ложно истолкованными.

В предыдущей статье мы говорили о различии Европы от Азии; теперь мы хотим показать отношение России до Петра Великого

к Европе и Азии. По географическому положению своему Россия занимает середину между этими двумя частями света. Многие заключают из этого, что она и в нравственном отношении занимает эту середину. Подобная мысль нам кажется вдвойне несправедливою: географическая середина не всегда бывает нравственною серединою, а нравственная середина не всегда бывает выгодна. Как угодно, но трудно вообразить себе середину между светом и тьмою, между просвещением и невежеством, между человечностью и варварством; но еще труднее найти такую середину выгодную и приятную от нее в восторг. Серый цвет может быть хорошо на произведениях природы, искусства и ремесл; но в духе человеческом серый цвет — цвет отвержения, нравственного унижения. «Кто не за меня, тот против меня»¹⁴ — середины нет. Вследствие татарского ига, кроме религии, в России не было ничего общего с Европою; но она много отличалась от Азии. Находясь под туманным небом, в суровом климате, она не представляла собою той роскоши, той поэзии чувственной, ленивой и сладострастной жизни, которая в Азии так обаятельно соблазнительна и для европейца. Страсти в ней были тяжелы, но не остры, отуманивали, а не раздражали, больше спали и редко просыпались. Разнообразие страстей в ней было неизвестно, потому что основы общества были однообразны, интересы ограничены. Для азиатца существует наслаждение; он по-своему обожает красоту, по-своему любит роскошь и удобства жизни. Ничего этого не бывало у русских до времен Петра Великого. Красоту у них составляло дородство, «ражесь» тела, молочная белизна и кровавой багрянец лица — *кровь с молоком*, как говаривали наши старики и как теперь говорят наши простолюдины. В самом деле, посмотря на то, что братастые торговцы нашего времени называют красотою, посмотря на разбеленные и разрумяненные ланиты и черные зубы их очаровательниц, не получишь слишком высокого понятия об эстетическом вкусе наших праотцев. И какая разница между азиатским сатрапом или нашею, который, грабя вверенный его грабительству пашалык, лениво и роскошно упивается всеми обаяниями чувственности в своем гареме — этом земном раю, обещанном ему на небе Мухаммедом, в кругу соблазнительных одалык — этих земных гурий и пери, под немолчный говор фонтанов, в сладостном дыму аравийских курений, — какая разница между ним и древним русским боярином, который тоже был посылан на *кормление*, то есть на грабление какой-нибудь провинции¹⁵, который много и безвкусно ел за обедом, еще больше пил, а после обеда спал богатырским сном; по субботам наслаждался банею, паримый вениками в адском жару, в случае нездоровья выпивал на полке пенничку с перечком,

а после бросался в сугроб снегу; для которого, после еды, питья и бани, величайшее наслаждение было — охота с соколами, ломка с медведями или разделка с холопами!.. На Востоке есть понятие о вдохновении и творчестве: там высоко ценится искусство «нанизывать жемчуг на нить описаний» и «рассыпать жемчуг по бархату», то есть писать стихами и прозою. На святой Руси в древности и не слыхивали о таком странном занятии, а если бы и услышали, то называли б его «пересыпаньем из пустого в порожнее». Какое прозаическое понятие о поэзии! Другое важное отличие русского мира от азиатского — отсутствие мистицизма и религиозной созерцательности¹⁶. Наше славянское язычество было так слабо и ничтожно, что не оставило по себе никакой памяти¹⁷. Великий князь Владимир одним словом мог уничтожить его, и народ без всякого фанатического сопротивления крестился. Правда, несколько голосов закричали было: «Выдыбай, боже!»¹⁸, но это не по языческому религиозному чувству, а по уважению к серебряной бороде и золотым усам Перуна. Вообще, Россия была Азией, только в другом характере, чему причиною было и христианство, формально объявленное Владимиром государственною религиею. Посему наши князья хотя и кололи друг другу глаза, но это было больше следствием влияния византийских обычаев, чем азиатизмом. Русский мужичок и теперь еще полуазиатец, только на свой манер: он любит наслаждение, но полагает его исключительно в «пенном», в еде и лежании на печи. Когда урожай хорош и хлеба у него вдоволь, — он счастлив и спокоен: мысль о прошедшем и будущем не тревожит его, ибо люди в своем естественном состоянии, кроме утоления голода и других подобных нужд, ни о чем не умеют мыслить. Приходит купец нанимать его под извоз на ярмарку — куда! — наш мужичок ломит с него цену непомерную, даже говорит с ним неохотно, и гордо остается на своих полатях. Голод — он едет за безделицу, чтоб только не есть дома и не кормить лошадь домашнею соломою. Вопрос о своем состоянии и средствах улучшить и обеспечить его на будущее время, пользуясь благоприятными обстоятельствами, урожаем и пр., никогда не заходил в его остриженную в кружало и плотно выстриженную на макушке голову. Он пашет, как пахали отцы и деды, не прибавит ни колушка к сохе (А малороссиянин так еще далее простирает свое уважение к преданиям старины: он ни за что не хочет поганить навозом землю, на которой родится *дар божий*, то есть хлеб. Вот Азия-то!). Изба его похожа на хлев, и зимою он радушно разделяет ее с телятами, ягнятами, поросятами и курами. И это не всегда от недостатка в средствах (немец с теми средствами, которые имеет свободный русский мужичок,

жил бы барином), а от естественного пребывания на лоне матери-природы и от глубокомысленной причины: «Так жили отцы и деды наши, а они были не глупее нас — не хуже нашего умели есть-то». Чудак от всей души верит, что уметь есть хлеб великая мудрость!.. О правосудии у него свои, совершенно азиатские понятия: «Он на то и алистратор, чтоб взятки брать», говорит наш мужичок о подьячем, и охотно развязывает мошну — лишь бы только дело-то ему сделали. Штрафов платить он не любит и боится их пуще смерти; а за скулы, зубы и хребтовую кожу не стоит — они ведь заживут, а денег — не воротишь. «Ученье свет, а неученье тьма», — говорит ваш мужичок, но грамоту охотно предоставляет знать за себя дьячку или подьячему. Да и от одних ли мужичков услышите вы заветное: «Отцы наши не хуже нас живали, хоть и неученые были»? — Это говорит и старый подьячий нашего времени, негодующий на то, что книги о запрещениях на имения лишили его возможности добывать хлебец справочками и что «Свод законов» дает возможность знать законы всякому грамотному человеку, даже и не имеющему никакого чина; это же говорит и старый помещик, которого новое время застало врасплох в отъезде поле, с арапником в руках, и которому страх не хочется ни пахать землю по новым теориям, ни везти детей в столицу для образования.

Возвращаясь к прошедшему России, сокрушенному железною волею царя-исполина, мы видим перед собою картину грустную, раздирающую душу. Быт того времени, изображенный Кошихиным, невольно заставляет содрогаться сердце, которое тем радостнее, торжественнее и выше бьется при мысли о посланнике божием, искупившем кровавым потом царственного чела своего тяготу и унижение темной годины России. Бессилие при силе, бедность при огромных средствах, безмыслие при уме природном, тупость при смышлености природной, унижение и позор человеческого достоинства и в обычаях, и в условиях жизни, и в судопроизводстве, и в кознях, и притом унижение человеческого достоинства при христианской религии: вот первое, что бросается в глаза при взгляде на общественный и семейный быт России до Петра Великого. Дух народный всегда был велик и могущ: это доказывает и быстрая централизация Московского царства, и мамаевское побоище, и свержение татарского ига, и завоевание темного Казанского царства, и возрождение России, подобно фениксу, из собственного пепла в годину междоцарствия, когда, подобно восходящему солнцу, прогоняющему призраки ночи и предраассветную мглу, на престол, по единодушному избранию народа, взошел благословенный дом Романовых, даровавший России Петра Великого¹⁹ и целый ряд знаменитых и славных

властителей, возвеличивших и облагоденствовавших вверенный богом по — печению их народ. Это же доказывает и обилие в таких характерах и умах государственных и ратных, каковы были — Александр Невский, Иоанн Калита, Симеон Гордый, Димитрий Донской, Иоанн III, Иоанн Грозный, Андрей Курбский, Воротынский, Шеин, Годунов, Басманов, Скопин-Шуйский, князь Димитрий Пожарский, мещанин Минин, святители — Алексий, Филипп, Гермоген, келарь Авраамий Палицын... Это же доказывают и произведения народной поэзии, запечатленной богатством фантазии, силою выражения, бесконечностью чувства, то бешено веселого, размахистого, то грустного, заунывного, но всегда крепкого могучего, которому тесно и на улице и на площади, которое просит для разгула дремучего леса, раздолья Волги-матушки, широкого поля... Но такова участь даже и великого народа, если враждебная судьба или неблагоприятное историческое развитие лишают его потребной ему сферы и для необъятной силы его духа не дают приличного ей содержания: в минуты испытания, когда малые духом народы падают, он просыпается, как лев, окруженный ловцами, грозно сотрясает свою гриву и ужасным рыканием оледеняет сердца своих врагов; но прошла буря — и он опять погружается в свою дремоту, не извлекая из потрясения никаких благоприятных результатов для своей цивилизации. В самом деле, все великие перевероты и испытания судьбы только обнаружили великий характер русского народа, но несколько не развили его государственных сил и не дали толчка его цивилизации; тогда как роковой 1812 год, пронесшийся над Россиею грозною тучею, напяривший все ее силы, не только не ослабил ее, но еще и укрепил, и был прямою причиною ее нового и высшего благоденствия, ибо открыл новые источники народного богатства, усилил промышленность, торговлю, просвещение: вот какая разница между одним и тем же народом в его непосредственном, естественном и патриархальном состоянии и в разумном движении его исторического развития! В первом состоянии и великое событие у народа рождается как бы без причины и оканчивается без результатов, — и потому его история лишена всякого общего, разумного интереса; во втором состоянии даже всякое событие имеет разумную причину и разумное следствие и есть шаг вперед, — и его история полна драматического интереса, движения, разнообразия, поэтически интересна, философски поучительна, политически важна. Но народ один и тот же, и Петр не пересоздал его (такого дела, кроме бога, никто бы не мог совершить), а только вывел его из кривых, избитых тропинок на столбовую дорогу всемирно-исторической жизни. Шереметев, Меншиков, Репнин, Долгорукий, Апраксин,

Шафиров, Голицын (Михаил), Головин, Головкин, — все эти люди, одаренные такими блестящими талантами, «сии птенцы гнезда Петрова»²⁰, по выражению Пушкина, были природные русские и родились в царствование Алексея Михайловича — в кошихинские времена России. Итак, Петр отрицал и уничтожал в народе не существенное и кровное, но выросшее и привившееся, и тем отверз новые пути в духе народа, до того времени остававшиеся затворенными для принятия новых идей и новых дел. Обвиняющим его в попрании и уничтожении народного духа Петр имел бы полное право ответить: «Не думайте, что пришел нарушить закон или пророков: я не нарушить пришел, но исполнить»...²¹

Читатели наши могли видеть верную картину общественного и семейного быта России — в выписках, сделанных нами в предыдущей статье из книги Кошихина, изданной нашим просвещенным правительством. Они могли видеть, что в России до Петра Великого не было ни торговли, ни промышленности, ни полиции, ни гражданской безопасности, ни разнообразия нужд и потребностей, ни военного устройства, ибо все это было слабо и ничтожно, потому что было не законом, а обычаем. А нравы? — какая грустная картина! Сколько тут азиатского, варварского, татарского! Сколько унижительных для человеческого достоинства обрядов, например, в бракосочетании, и не только простолюдинов, но и высших особ в государстве! Сколько простонародного и грубого в пирах! Сравните эти тяжелые яденья, это невероятное питье, эти грубые целования, эти частые стуканья лбом о пол, эти валяния по земле, эти китайские церемонии, — сравните их с турнирами средних веков, с европейскими пиршествами XVII столетия... Хороши были наши брадатые рыцари и кавалеры! Да не дурны были и наши бойкие дамы, потягивавшие «горькое»!.. Славное было житье: женились, не зная на ком, ошибившись в выборе, били и мучили жен, чтобы насильно возвысить их до ангельского чину, а не бра-ло это — так отравляли зельями; ели гомерически, пили чуть не ушатами, жен прятали и, только разгоревшись от полусотни перечных кушаний и нескольких ведер вина и меду, вызывали их на поцелуи... Все это столько же нравственно, сколько и эстетично... Но все это опять-таки нисколько не относится к унижению народа ни в нравственном, ни в философском отношении: ибо все это было следствием изолированного от Европы исторического развития и следствия влияния татарщины. И, как скоро отворил Петр двери своему народу на свет божий, мало-помалу тьма невежества рассеялась — народ не выродился, не уступил своей родной почвы другому племени, но уже стал не тот и не такой, как был прежде... И потому, господа защитники варварской ста-

рины нашей, воля ваша, а Петру Великому мало конной статуи на Исакиевской площади: алтари должно воздвигнуть ему на всех площадях и улицах великого царства русского!..

Взглянем ли на боярство со стороны его политического и государственного значения, — то же зрелище, которое на минуту может обмануть своею внешностью, своим именем, но которое, в сущности, совсем не то. Прочтете опять Кошихина — и вы невольно воскликнете: «Так вот та мнимая аристократия, которую наши безусловные поклонники старины мечтают видеть в азиатской боярщине древней России!..» В самом деле, некоторые из этих господ, вообще недовольных реформою Петра Великого, одним из главнейших обвинений против него поставляют, будто бы он унизил и уничтожил аристократию, и тем навсегда отстранил всякое уравнивание законности против произвола²². Это премудрое обвинение основывают они на пустом, формальном, ни права, ни силы, ни мысли, ни даже особенного смысла не заключавшем в себе выражении: «Царь указал, *бояре приговорили*»²³. Напротив, Петр Великий основал у нас нечто вроде аристократии (что приличнее назвать *вельможеством*) и силою заставлял ее противоборствовать самому себе, для чего иногда умышленно уклонялся от справедливости. Так, однажды стал он просить адмиралтейское начальство, чтобы его поместили на открывшуюся тогда вакансию вице-адмирала: ему отказали, заметив, что есть некто старше его по службе, кто имеет большее право на то место. Что же сделал Петр? — Он сказал: «Если бы они были столь раболепны, что из ласкательства предпочли бы меня моему достойному сверстнику, то действительно я заставил бы их горько раскаяться в этом». И вообще, что значит это бессильное, формальное, не на праве и законе, а на обычае основанное «*бояре приговорили*» — что значит оно в сравнении с противоречиями князя Якова Феодоровича Долгорукова Петру Великому?..²⁴ Да, Петр Великий основал и создал наше вельможество, которое при Екатерине Великой расцвело таким пышным цветом знатности, могущества, богатства, образованности, просвещения и, прибавим, таланта и достоинства внутреннего. Только азиатские души могут ставить Петру в упрек то, что он придал вельможеству характер бюрократии, сделав его доступным людям низкого происхождения, но высокого духа, людям даровитым и способным. Если бы наше вельможество и могло когда-нибудь превратиться в чистую бюрократию, то в этом Петрнисколько не виноват: значит так должно, так нужно быть; значит иначе быть не может; значит нет в вельможестве субстанциальной силы, которая дала бы ему возможность не изменяясь пройти сквозь все изменения гражданского устройства и быта России. Что

такое аристократия? — Привилегированное сословие, исторически развившееся, которое, стоя на вершине государства, посредствует между народом и высшею властью, и развивает своим бытом и деятельностью идеальные понятия о личной чести, благородстве, неприкосновенности их прав, из рода в род передает высшую образованность, идеальное изящество в формах жизни. Такова была аристократия в Европе до конца прошлого века, такова и теперь аристократия в Англии. Если в средние века короли могли употреблять во зло свою власть над могучими вассалами, — все-таки они могли лишить их только жизни, но не чести, — отрубить голову, а не бить батогами, плетью или кнутом. И лишить жизни своего вассала король мог не иначе, как по форме судопроизводства и приговору (хотя бы и не всегда справедливому) суда. Понятие о чести, составляющее душу и кровь истинной аристократии, вышло в Европе из того, что все аристократы были сперва сами владетельными особами, а рыцарство еще более придало благородный и человеческий характер их понятиям о чести. Наши бояре тоже были сперва владетельными особами; но, перестав быть государями, тотчас же сделались только почетными слугами: татарское иго, сокрушившее феодальную систему, было для наших воображаемых феодалов тем же, чем было рыцарство для феодалов Запада. Невыгодное тождество!.. И потому наш боярин не считал себе за бесчестье не знать грамоты, не иметь ни познаний, ни образования: все это, по старинным понятиям, было приличнее последнему холопу, чем боярину. По этому же самому он считал для себя бесчестьем не розги, не батоги, не плети, не кнут, не застеночную пытку, не тюрьму, — а «место» за царским столом ниже боярина, равного с ним по породе, но не равного по чести своих предков, или высшего заслугами, но низшего родом. По этому же самому наши бояре, по выражению Кошихина, *лаяли* друг друга, а не переводывались оружием по-рыцарски.

Защитники патриархальных нравов против цивилизованных с особенным торжеством ссылаются на непоколебимую верность и беспрекословное повиновение народа высшей власти во времена старой России. Но исторические факты слишком резко противоречат этому убеждению и слишком ясно доказывают старинную истину, что «крайности сходятся». Мятежи и крамолы стрелецкие еще в малолетстве Петра Великого, беспрестанные покушения на жизнь его даже во время его единодержавия, доказывают, как мало прочны естественные отношения народа к высшей власти, что гораздо прочнее их отношения, проникнутые разумною сознательностью своих обязанностей и прав. Во время народного мятежа по случаю упадка курса денег, вследствие медной моне-

ты, многие держали царя Алексея Михайловича за пуговицы, и «один человек из тех людей с царем бил по рукам»: это больше, чем санкюлотская²⁵ дерзость, — это грязная и отвратительная животность в понятиях и чувствах.

Защитники нашей патриархальной старины обыкновенно говорят, что и в Европе, во времена варварства, было не лучше, чем у нас. Но во времена ее варварства, а у нас в XVIII веке (до царствования Екатерины Великой) было то, что в Европе было в IV и V веках — были пытки, изуверство, суеверие, но не было кнута, подаренного нам татарами. Но, что всего важнее, — в Европе было развитие жизни, движение идеи; подле яду там росло и противоядие — за ложным или недостаточным определением общества тотчас же следовало и отрицание этого определения другим, более соответствующим требованию времени определением. И потому-то невольно миришься со всеми ужасами, бывшими в Европе тех времен, миришься с ними за их благородный источник, за их благие результаты. Но Россия была скована цепями неподвижности, дух ее был сперт под толстою ледяною корою и не находил себе исхода.

Некоторые думают, что Россия могла бы сблизиться с Европою без насильственной реформы, без отторжения, хотя бы и временно, от своей народности, но собственным развитием, собственным гением. Это мнение имеет всю внешность истины, и потому блестяще и обольстительно; но внутри пусто, как большой, красивый, но гнилой орех: его опровергает самый опыт, факты истории. Никогда Россия не сталкивалась с Европою так близко, так лицом к лицу, как в эпоху междоусобицы. Димитрий Самозванец, с своею обольстительною Мариною Мнишек, с своими поляками, был не чем иным, как нашествием *немецких* обычаев на русские, но главнейшая причина его гибели, кроме дерзости, была та, что он после обеда не спал на лавке, а осматривал публичные работы, ел телятину и по субботам не ходил в баню. Швед Делагарди был другом юному русскому герою Скопину-Шуйскому; но по смерти его *принужден* был сделаться врагом русским²⁶. Но есть факт, еще более поразительный: это — Новгород. Прекрасно русское выражение: «новгородская вольница» и странно мнение многих ученых, которые от чистого сердца, то есть не шутя, видели в Новгороде республику²⁷ и живой член ганзеатического союза. Правда, новгородцы были друзья «немцам», беспрепятственно обращались с ними, но немецкие идеи и не коснулись их. Это была не республика, а «вольница», в ней не было свободы гражданской, а была дерзкая вольность холопей, как-то отделавшихся от своих господ, — и порабощение Новгорода Иоанном III и Иоанном Гроз-

ным было делом, которое оправдывается не только политикою, но и нравственностью. От создания мира не было более бестолковой и карикатурной республики. Она возникла, как возникает дерзость раба, который видит, что его господин болен изнурительной лихорадкой и уже не в силах справиться с ним, как должно; она исчезла, как исчезает дерзость этого раба, когда его господин выздоравливает. Оба Иоанны понимали это: они не завоевывали, но умирляли Новгород, как свою взбунтовавшуюся отчину. Усмирение это не стоило им никаких особенных усилий: завоевание Казани было в тысячу раз труднее для Грозного. Нет! была стена, отделявшая Россию от Европы: стену эту мог разрушить только какой-нибудь Сампсон, который и явился Руси в лице ее Петра²⁸. Наша история шла иначе, чем история Европы, и наше очеловечение должно было совершиться совсем иначе. Нецивилизованные народы образуются безусловным подражанием цивилизованным. Сама Европа доказывает это: Италия называла остальную Европу варварами, и эти варвары безусловно подражали ей во всем — даже в пороках. Могла ли Россия начинать с начала, когда перед ее глазами был уже конец? Неужели ей нужно было начать, например, военное искусство с той точки, с которой оно началось в Европе во времена феодализма, когда в нее стреляли из пушек и мортир, а нестройные толпы ее могли поражать стройные ряды, вооруженные штыками, повертывавшиеся по команде одного человека? Смешная мысль! Если же Россия должна была учиться военному искусству, в каком было оно состоянии в Европе XVII века, то должна была учиться и математике, и фортификации, и артиллерийскому и инженерному искусству, и навигации, а если так, — могла ли она приниматься за геометрию не прежде, как арифметика и алгебра уже укоренятся в ней и их изучение окажет полные и равные успехи во всех сословиях народа. Однообразие в одежде для солдат есть не прихоть, а необходимость. Русская одежда не годилась для солдатской униформы, следовательно, необходимо должно было принять европейскую; а как же можно было сделать это с одними солдатами, не победивши отвращения к иностранной одежде в целом народе? И что бы за отдельную нацию в народе представляли собою солдаты, если бы всё прочее ходило с бородами, в балахонах и безобразных сапожищах? Чтобы одеть солдат, нужны были фабрики (а их, благодаря патриархальности диких нравов, не было): неужели же для этого надо было ожидать свободного и естественного развития промышленности? При солдатах нужны офицеры (кажется, так, господа старообрядцы и антиевропейцы?), а офицеры должны быть из высшего сословия против того, из которого набирались солдаты, и на их мундиры

нужно было сукно потоньше солдатского: так неужели же это сукно следовало покупать у иностранцев, платя за него русскими деньгами, или дожидать, пока (лет в 50) фабрики солдатского сукна придут в совершенство и из них разовьются тонкосуконные фабрики? Что за нелепости! Нет: в России надо было начинать все вдруг, и высшее предпочитать низшему: фабрики солдатского сукна фабрикам мужицко-сермяжного сукна, академию — уездным училищам, корабли — баркам. Мало основать уездное училище — надо было дать им учителей, которых всего лучше могла образовывать академия; надо было составить учебные руководства, что опять могла сделать только академия. Что ни говорите о бедности нашей литературы и ничтожности нашей книжной торговли, — однако иные книги у нас раскупаются же, и иные книгопродавцы одними периодическими изданиями имели же в ежегодном обороте по 250 000 рублей. А отчего это произошло? — Оттого, что наша великая императрица, наша матушка Екатерина II, заботилась о создании литературы и публики, заставила читать двор, от которого мало-помалу охота к чтению перешла, через высшее дворянство, к среднему, от него к чиновническому люду, а теперь уже начинает переходить и к купечеству.

Да, у нас все должно было начинать сверху вниз, а не снизу вверх, ибо в то время, как мы почувствовали необходимость сдвинуться с места, на котором дремали столько веков, мы уже увидели себя на высоте, которую другие взяли приступом. Разумеется, на этой высоте увидел себя не народ (в таком случае ему не для чего было бы и подыматься), а правительство, и то в лице только одного человека — царя своего. Петру некогда было медлить: ибо дело шло уже и не о будущем величии России, а о спасении ее в настоящем. Петр явился вовремя: опоздай он четвертью века, и тогда — *спасай*, или *спасайся кто может!*.. Провидение знает, когда послать на землю человека. Вспомните, в каком тогда состоянии были европейские государства, в отношении к общественной, промышленной, административной и военной силе, и в каком состоянии была тогда Россия во всех этих отношениях! Мы так избалованы нашим могуществом, так оглушены громом наших побед, так привыкли видеть стройные громады наших войск, что забываем, что всему этому только 132 года (считая от победы под Лесным — первой великой победы, одержанной русскими регулярными войсками над шведами)²⁹. Мы как будто всё думаем, что это было у нас искони веков, а не с Петра Великого. Мы уже забыли и то, что при Петре Великом у России явился опасный сосед — Карл XII, которому нужны были и люди и деньги и который умел бы распорядиться и тем и другим, следуя русской пословице:

«Даровому коню в зубы не смотрят». Любовь к отечеству, могущество народного духа и богатство в материальных средствах — действительно сильные орудия. Но воскресите вы героев Термопил, Марафона, Платеи, воинов Лакедемона, фаланги македонян, когорты Рима, составьте из всех их одно войско, сделайте Мильтиада, Фемистокла, Кимона, Аристида, Перикла, Фабия, Камилла, Сципиона, Мария начальниками отрядов, а в главнокомандующие дайте им Александра Македонского и Юлия Цезаря: это ужасное войско исполинов не устоит против пяти полков нашего времени под командою не Наполеона, а хоть кого-нибудь из его генералов. Сила соломой ломит, говорит пословица, а ум, вооруженный наукою, искусством и вековым развитием жизни, ломит и силу, прибавим мы от себя. Нет, без Петра Великого для России не было никакой возможности естественного сближения с Европою, ибо в ней не было живого зерна развития, и без Петра долго бы ей быть оригиналом картин, нарисованных Кошихиным и Желябужским. Правда, и без реформы Петра Россия, может быть, сблизилась бы с Европою и приняла бы ее цивилизацию, но точно так же, как Индия с Англиею. Повторяем: Петру некогда было медлить и выжидать. Как прозорливый кормчий, он во время тишины предугадал ужасную бурю, и велел своему экипажу не падать ни трудов, ни здоровья, ни жизни, чтобы приготовиться к напору волн, порывам ветра, — и все изготовились, хоть и нехотя, — и настала буря, но хорошо приготовленный корабль легко выдержал ее неистовую силу, — и нашлись недаленовидные, которые стали роптать на кормчего, что он напрасно так беспокоил их. Нельзя ему было сеять — и спокойно ожидать, когда прозябнет, взойдет и созреет брошенное семя: одной рукою бросая семена, другою хотел он тут же и пожинать плоды их, нарушая обычные законы природы и возможности, — и природа отступила для него от своих вечных законов, и возможность стала для него волшебством. Новый Навин, он останавливал солнце в пути его³⁰, он у моря отторгал его довременные владения, он из болот вывел чудный город. Он понял, что полумеры никуда не годятся и только портят дело; он понял, что коренные перевороты того, что сделано веками, не могут производиться вполовину, что надо делать или больше, чем можно сделать, или ничего не делать, и понял, что на первое станет его сил. Перед битвою под Лесным он позади своих войск поставил казаков и калмыков с строгим приказанием убивать без милосердия всякого, кто побежит вспасть, даже и его самого, если он это сделает (Голиков, т. III, стр. 20 старого издания). Так точно поступил он и в войне с невежеством: выстроив против него весь народ свой, он отрезал ему всякий путь к отступлению

и бегству. Будь полезен государству, учись — или умирай: вот что было написано кровью на знамени его борьбы с варварством. И потому, все старое безусловно должно было уступить место новому, все — и платье, и прическа, и борода, и обычаи, и нравы, и дома, и улицы, и служба. Говорят: дело в деле, а не в бороде; но что ж делать, господа, если борода мешала делу — так вон же ее с корнем, если сама не хочет валиться! Нельзя ничего понимать в частности, но все должно видеть в связи с общим. Образ жизни, одежда и самое непостоянство мод у европейцев в тесной связи с их наукою, образованием, администрацией), военного силою и законами. У нас теперь есть люди, которые, нося бороды, читают книги и сами приобрели себе некоторую образованность; но войдите вы к ним в дом, вникните в их семейные отношения, обращение с людьми своего мира, — вам станет тяжело и грустно, если вы порядочный человек, и внутреннее и внешнее изящество в формах жизни ставите во что-нибудь. Но теперь борода есть только вывеска уважения к преданиям старины, к обычаям сословия; иной не решается ее сбрить, как и есть в первый раз устриц: ему смешно своего страху, а все не решается. Это еще по крайней мере сносно, и больше смешно, чем вредно. Но во времена Петра бороде придавалось невежеством народа какое-то религиозное значение. Она торчала между книгою и глазами, и не давала читать. На бритву смотрели, как на орудие разврата иноземного, безбожия басурманского. По счастливому выражению Марлинского, русский человек держался за бороду обеими руками, как будто она приросла у него к сердцу³¹. Знамя совсем не то же, что полк; но, если знамя утрачено в сражении, полк считается несуществующим, — и потому великая честь отбить у неприятеля знамя. Борода была знаменем невежества, — и Петр понял, что за нее-то прежде всего и нужно было взяться.

Некоторые приписывают реформе Петра Великого то вредное следствие, что она поставила народ в странное положение: не привив ему истинного европеизма, только отторгла его от родной сферы и сбила с здорового и крепкого природного смысла. Несмотря на всю ложность этого мнения, оно имеет основание и по крайней мере достойно опровержения. В самом деле, если реформа развязала, так сказать, душевные силы даровитых людей, подобных Шереметеву, Меншикову и другим, зато из большинства сделала каких-то кривляк и шаркунов. Понятно, что старые бояре, отличавшиеся природным умом, упругим характером, не хотевшие расстаться с своею степенною одеждою и оставить суровые обычаи старины, как какой-нибудь Ромодановский, понятно, с каким чувством глубочайшего презрения смотрели они на этих нововы-

печенных и доморощенных европейцев, которые, по непривычке, путались ногами в шпаге, роняли из-под мышки свои кораблики, подходя к дамам к ручке, наступали им на ноги, как попугай, употребляли без толку иностранные слова, любезность заменяли грубым и наглым волокитством и — могло быть! — иное платье надевали на себя задом наперед. В другом уже виде, но и теперь еще заметен у нас этот мнимый, искаженный европеизм, эти формы без идеи, эта вежливость без уважения к себе и другим, эта любезность без эстетичности, это франтовство и *львинство* без изящности: знаменитый Иван Александрович Хлестаков, прославленный Гоголем, есть один из типов известного рода *европейцев* нашего времени. Наши галломаны, англومانь, львы, онагры, петиметры, агрономы, комфортисты — так и просятся в комедию Гоголя — кто рассуждать с Анною Андреевною о столичной жизни и обращении с посланниками и министрами, кто рассуждать с почтмейстером Шпекиным и с судьей Ляпкиным-Тяпкиным о политических отношениях Франции и Турции к России. Вследствие же реформы Петра Великого, гениальный ум Ломоносова является в поэзии таким бесплодным и риторическим и, за исключением Крылова, до Пушкина литература наша является рабски-подражательною, бесцветною и не имеющею никакого интереса для иностранцев. Да, всё это правда, но только за всё это Петра так же нелепо обвинять, как и врача, который, чтобы вылечить человека от горячки, сперва ослабляет и истощает его до последней крайности кровопусканиями, а выздоравливающего мучает строгою диетой. Вопрос не в том, что Петр сделал нас полувенгерцами и полурусскими, а следовательно, и не европейцами и не русскими: вопрос в том, навсегда ли должны мы остаться в этом бесхарактерном состоянии? Если не навсегда, если нам суждено сделаться европейскими русскими и русскими европейцами, — то не упрекать Петра, а удивляться должно нам, как он мог совершить такое неслыханное от начала мира, такое исполинское дело! Итак, вопрос заключается в слове «будем ли», — и мы смело и свободно можем отвечать на него, что не только *будем*, но уже и *становимся* европейскими русскими и русскими европейцами, и становимся со времен царствования Екатерины II, и со дня на день преуспеваем в этом в настоящее время. Мы уж теперь ученики, но не *сеиды*³² европеизма, мы уже не хотим быть ни французами, ни англичанами, ни немцами, но хотим быть русскими в европейском духе. Это сознание проникает во все сферы нашей деятельности, и резко высказалось в литературе с появлением Пушкина — таланта великого, самостоятельного, вполне национального. Что же до того, что и теперь не совершился и долго не совершится окончательно великий акт

полного проникновения нашей народности европеизмом — это доказывает только то, что Петр в тридцать лет совершил дело, которое дает работу целым векам. Оттого он и исполин между исполинами, гений между гениями, царь между царями. Самому Наполеону есть соперник в древности — Юлий Цезарь: нашему Петру от начала мира до сего дня не было ни соперников, ни образцов; он подобен и равен только самому себе. И его великое дело совершенно безусловным принятием форм и слов: форма не всегда идея, но часто ведет за собою и идею; слово не всегда дело, но часто ведет за собою дело. Литература наша началась формою без мысли, вышла не из народного духа, а из чистого подражания, и, однако ж, мы не должны презирать нашей подражательной литературы: без нее мы не имели бы Пушкина. От литературы можно сделать посылку и ко всему прочему. Солдаты Петра Великого не понимали, для чего их учат маршировать и выкидывать артикулы; в этом случае они бессмысленно повиновались отцам-командирам — и что же! — результатом их бессмысленного повиновения и обезьянского передразнивания заморских солдат были — взятие Азова, победы под Лесным и Полтавою, завоевание прибалтийских шведских областей. Первые наши светские люди ужасали своим татаризмом европейские общества, но скоро явились у нас люди, которые могли быть их украшением и удивляли самих парижан своею любезностию и хорошим тоном.

Построение Петербурга тоже ставится многими в упрек его великому основателю. Говорят: на краю огромного государства, на болотах, в ужасном климате, много погублено работников, многие насильно заставлены строиться и пр. Все это не без основания, но вопрос в том: было ли это необходимо, и можно ли было поступить иначе? Петр должен был оставить Москву — там шипели против него бороды; ему нужно было отвести безопасный приют европеизму, сделать этого гостя семейным, своим человеком, чтобы незаметно и тихо мог он действовать на Россию и быть громовым отводом для невежества и изуверства. Для такого приюта ему нужна была почва совершенно новая, без преданий, где бы его русские очутились совершенно в новой сфере и на могли бы сами собою не измениться в обычаях и привычках жизни. Ему нужно было свести их с иностранцами и связать с ними и службою, и торговлею, и согражданством, поставить их с ними в беспрестанное соприкосновение. Для этого была необходима завоеванная земля, которая могла бы быть отечеством и для иностранцев, которых невозможно было бы в большем числе переманить в Москву, и для русских, которые только вначале неохотно селились там, но потом, увидев там центр правительства, тянулись туда, как железо к маг-

ниту. Где же могло быть лучшее для этого место, как не в «отбитом у шведа крае»? А великая идея создать флот и положить начало заграничной торговле не чрез посредство иностранцев, как в Архангельске, а прямо, собственною деятельностью, и не с одними англичанами, но со всем земным шаром? — Где же лучшее для этого место, как не при четверном устье Невы? Стоит только обратить внимание на важность Кронштадта для Петербурга, чтобы увидеть, как гениальны и непогрешительны соображения Петра Великого. Почему бы ему было не перенести столицу на берега Черного или Азовского моря? Потому, что ему, кроме флота и заграничной торговли, море нужно было и для успехов европеизма от соседства с европейским народом. Азовское или Черное море сблизило бы нас с татарами, калмыками, черкесами и турками, а не с европейцами. Для Одессы важно соседство Турции, в которую она отпускает огромные количества пшеницы; но оно не было бы важно для Петербурга, ибо Одесса только портовой и торговый город, а Петербург еще и столица сверх того. И мысль Петра оправдалась делом: Москва бесспорно имеет свое значение для России, но Петербург истинно европейская столица России, и Москва только тогда сравнится с ним, когда примет его в себя, Петербург для России — биржа европеизма, из которой европеизм разносится по России. Всякое удобство, всякий шаг к цивилизации делается у нас через Петербург. Он окно и дверь в Европу. Борода в нем не колет глаз только на извозчицких санках или дрожках.

Что касается до жертв, с какими построен Петербург — они искупаются необходимостью и результатом. Петр своими делами писал историю, а не роман; он действовал как царь, а не как семьянин. Вся реформа его была тяжким испытанием для народа, Годиною трудною и грозною. Но когда же и где же великие перевороты совершались тихо и без тяготы для современников?.. Разве легок был для России славный *двенадцатый год*? Но неужели поэтому мы должны бранить его, а не гордиться им?.. Спокойных государств только два в мире — Китай и Япония; но лучшее, что производит первый, это чай, а вторая, кажется — лак: больше о них нечего сказать. Осина ломится и сокрушается ветром; дуб мужает и крепнет в бурях.

...Россия молодая,
В бореньях силы напрягая,
Мужала гением Петра.
Суровый был в науке славы
Ей дан учитель: не один
Урок неожиданный и кровавый
Задал ей шведский паладин.

Но в искупленьях долгой кары,
Перетерпев судеб удары,
Окрепла Русь. Так тяжкий млат,
Дробя стекло, кует булат³³.

Да, тяжело было народу с печей и полатей своих выйти на такую работу и борьбу. Он не виноват был, что вырос не учась, и взрослому ему не под силу показалось садиться за указку. Но худшее, что было в его положении, — это то, что он не мог понять ни смысла, ни цели, ни пользы перемен, которым подвергала его железная, нескрушимая воля царя-исполина. Здесь мы почитаем приличным выписать, или, лучше сказать, украсить нашу статью выпискою красноречивых строк о Петре Великом одного из русских ученых: (Ф. Л. Морошкина, профессора в Московском университете, из речи его «Об уложении и последующем его развитии», произнесенной на университетском акте 1839 г. июня 10 дня.)

Чего ж недоставало русскому народу? — *Преобразования!* Его недоставало для XVII века! Явился царь с горящей мыслию в очах, с отважной Думой на челе и с громоносным словом власти! Он страшный кинул взор на царствующий град, сурово посмотрел на даль прошедшего, и двинул царство от него. Что ж не понравилось ему в наследии предков? Что возмутило Петра в творении его отцов? Но это тайна души великой, глубокая тайна гения! Мы видели только внешнее этого духа, который, как грозное облако, прошел над русскою землею. Мы видели, как он сочувствовал Иоанну Грозному, как благоговел пред кардиналом Ришелье, как не терпел византийского двора, его роскошества и лени, его ханжей и лицемеров. Такое грозное соединение стихий в душе смертного, рожденного повелевать и царствовать! И к этому огненному началу нравственной его жизни присоединилось глубочайшее сознание собственных сил. Посланник неба, самодержавный смертный, решительно рожденный для преобразований! В каком бы он веке ни родился, в каком бы народе ни воспитался, он всегда и везде был бы преобразователем. Это его природа! Если бы он был современным древнему Язону, его постигла б участь божественного Иракла. Он был бы слишком тяжел для легкой греческой Армады. Но провидение знало, где произвести на свет необычайного смертного. Только русский корабль мог сдерживать такого страшного пассажира! Только русское море могло носить на хребте своем столь отважного мореходца! Только Россия могла не треснуть от этого духа, который напрягал ее, чтоб уравнять ее силы с своею исполинскою мощию! Дивное явление! От сложения мира не бывало такого государя! Говорят, что крутость его ума и воли происходила оттого, что он не получил надлежащего воспитания; но, боже мой, какая наука

могла огранить эту адамантовую душу, какое воспитание могло смягчить эти несокрушимые нервы ума, эти железные мышцы воли? Если природа должна была уступить ему, то что ж могла сделать из него наука? Какой немец мог быть его детоводцем, какой француз учителем? И природа и науки отступились, когда этот великий дух помчал русскую жизнь по открытому морю всемирной истории! Петр Великий не верил слабостям человеческой природы: только на смертном одре почувствовал, что и он смертный: «Из меня можно познать, сколь бедное творение есть человек», — произнес он в смертных страданиях! Таков был Петр Великий! Ему нужно было совершить преобразование. И какое преобразование! От конечностей тела до последнего убежища человеческой мысли! Он бритвой бреет бороды и топором рубит невежество. Тысячи стрелецких голов падают на Преображенском поле! Ни даже крестный ход царствующего града не мог смягчить его правосудия! (стр. 60–61).... Преобразователь в течение всей своей жизни хранил в себе тайное сознание, что не одно рождение возвело его на престол, но сила высшая призвала его царствовать над народами! Он чувствовал, что не кровь, а дух должен ему предшествовать. Он отверг сына и возжелал оставить по себе *достойнейшего*. Но великий человек не приобщился нашим слабостям! Он не знал, что мы и кровь и плоть. Он был велик и силен, а мы родились и *малы* и *худы*, нам нужны были общие уставы человечества! Петру Великому не нравилось наше древнее государственное устройство. Государева боярская дума должна была уступить место сенату; областные приказы ландратам и ландрихтерам. Ему не нравились и паши целовальники, наши дьяки и подьячие. Он желал бы посадить на их место пленных шведов, секретарей и шрейберов цесарской службы. Ему не нравилось прошедшее России. Но все эти перемены ничто в сравнении с преобразованием государственной службы. Сам, начав с солдата гвардии, он прошел медленно по лестнице подчинения и завещал ее своим подданным. А что кормление прежнее, что царский хлеб и соль? В поте лица ели их слуги Петра Великого. Нигде он не был так грозен своим правосудием, как против дармоедов, мирских едох и казнокрадов. Не уважая частной собственности, когда думал об отечестве, за каждую копейку, излишне взятую сборщиком податей или переданную комиссионером торгашу, он был неумолим для виновного (стр. 61–62).

Да, тут народу было от чего призадуматься, было от чего вспоминать с умилением о простодушной старине и поэтизировать ее в элегических обращениях к новому и старому времени, вроде следующего, которым начинается одна сказка, вероятно, сложенная в ту эпоху.

Соизвольте выслушать, люди добрые, слово вестное, приголубьте речь лебединого словеса немудрые, как в старые годы, прежние, жили люди Старые. А и то-то, родимые, были веки мудрые, веки мудрые, народ все православный, живали старики не по-нашему, не по-нашему, по-заморскому, а по-своему, православному. А житье-то, а житье-то было все привольное да раздольное. Вставали раным раненько, с утренней зарей, умывались ключевой водой, со белой росой, молились всем святым и угодникам, кланялись всем родным от востока до запада; выходили на красен крылец со решеточкой, созывали слуг верных на добры дела. Старики суд рядили, молодые слушали; старики придумывали крепкие думушки, молодые бывали во посылушках. Молодые молодичи правили домком, красные девицы завивали венки на Семик-день, старые старушки судили, рядили и сказки сказывали. Бывали радости великие на велик день, бывали беды со кручинами на велико сиротство. *А что было, то былою поросло, а что будет, то будет не по-старому, а по-новому*³⁴.

И хорошо! Как красно ни рассказывайте, как сладко ни пойте, а, право, не соблазните нас этим привольным и раздольным житьем. Гулянья, театры, балы и маскарады мы будем предпочитать завиванию венков на Семик-день. Что до раннего вставанья — дело не в том, чтобы раньше встать, а чтоб недаром встать; кому нечего делать, тот хорошо сделает, если подольше поспит. Мы не только не кланяемся родным заочно на все четыре стороны, но и встретившись с ними, если наше родство с ними заключается только в крови, а не в любви и духе. Молодые люди бывают и у нас «во посылочках» у старых, но зато и старые бывают «во посылочках» у молодых: ибо право начальства принадлежит у нас не старейшему, но достойнейшему, а достоинство мы измеряем не сединою, а умом, талантом и заслугою. На посылках у Суворова бывали не одни молодые офицеры, но и генералы, вдвое старше его летами. Да, мы не можем без улыбки сожаления слушать эти жалобные похвалы доброму старому времени; но мы понимаем, что простодушный народ тогдашний *по-своему* был прав. Скажем же ему от всего сердца: *вечная память и царство небесное!* Своими страданиями и тяжким терпением искупил он наше счастье и наше величие. Над гробами исторического кладбища не должно быть ни проклятий, ни непристойного смеха, ни ненависти, ни кощунства, но любовь и грустная, благоговейная дума...

Но такова сила истины, таково непосредственное влияние гения: еще в разгар и самое тяжелое время реформы Петр имел почитателей не только в приверженных к себе людях, но и в тех, которые косо смотрели на его преобразование. Казалось, все,

вопреки своему сознанию, признавали необходимость коренной реформы. И не могло быть иначе: Петр явился вовремя. Потребность преобразования сильно обнаружилась еще в царствование Алексея Михайловича, и уничтожение местничества при царе Феодоре Алексеевиче было тоже следствием этой потребности. Но все дело ограничивалось полумерами, не имевшими важных последствий. Нужна была полная, коренная реформа — «от оконечностей тела до последнего убежища человеческой мысли»³⁵; а для произведения такой реформы нужен был исполинский гений, каким явился Петр. Полтавская битва не могла не иметь сильного нравственного влияния на народ: многие из самых ожесточенных приверженцев старины должны были увидеть в этой битве оправдание реформы. Правосудие и справедливость царя, свободный доступ к нему всех и каждого, эта готовность прощать личных врагов и злодеев, видя их раскаяние, эта готовность даже возвышать их, если, при раскаянии, видел в них и способности, это божественное самоотречение от своей личности в пользу вечной правды, это высокое самоуничтожение в идее своего народа и своего отечества, — все это покорило Петру сердца и души подданных еще задолго до его кончины. Но когда он умер, не оставив после себя никого подобного себе, — Русь оцепенела, словно удар грома оглушил ее. Лучшая часть народа, принесшая великие и невольные жертвы преобразованию, уже трепетала за участь преобразования и боялась возвращения прежнего варварства. Русь как будто предугадывала эту темную годину, когда ей надо будет влачиться по колее, проложенной Петром, не двигаясь вперед; она как будто чувствовала, что надолго закатилось ее лучезарное солнце, вновь взошедшее на ее небосклон с Екатериною Великою, чтобы уж более не оставлять его. Но каким ударом была смерть Петра для его любимцев, для людей, созданных и образованных его зиждительным духом, его творческим гением! Вот что писал Неплюев о впечатлении, каким поразило его известие о смерти Петра: «1725 года, в феврале месяце, получил я плачевное известие, что отец отечества, Петр Великий, император первый, отыде от сего света. Я смочил ту бумагу горестными слезами как по должности о моем государе и подданных своих истинном отце, так и по многим его ко мне милостям; и — ей-ей! не лгу: был более суток в беспамятстве, — да инако бы мне и грешно было. Сей монарх отечество наше привел в сравнение с лучшими державами, научил узнавать нас свои дарования и способности, и одним словом: на что в России ни взгляни, все его началом имеет, и что б впредь ни делалось, от сего источника черпать будут; а мне собственно был государь и отец милосердый. Да вчинит господь душу сего

много трудившегося о пользе отечества монарха с праведниками» (Анекдоты о Петре Великом, Голикова, стр. 508).

Один старый солдат, по прозванию Кирилов, имел у себя маленький финифтяной портрет Петра, который он ставил с образами, зажигал перед ним свечу и молился ему. Об этом донесли нижегородскому архиерею, при доме которого находился Кирилов. Архиерей осмотрел коморку солдата и, указав на портрет Петра Великого, сказал ему: «Старик, это между святыми иконами стоит у тебя портрет Петра Перваго?» — Да, преосвященный владыко, образ батюшки нашего. — «Но он, хотя был великий и благочестивый государь и достоин всего нашего почтения, однако ж церковь святая не сопричислила его к лику святых, а посему и не должно тебе персону его ставить между образами святых, зажигать перед оным свечу, а меньше еще молиться ему». — Не должно? (перебил речь его с великим негодованием солдат) не должно? Вы его не знали, а я знал: он был наш ангел-хранитель; защищал и охранял нас и все отечество от неприятелей, нес наравне с нами все тяжести в походах, едал с нами одну кашу, обращался с нами как равный и как отец; сам бог прославил его победами, не допусая коснуться до него смерти и раны; а ты говоришь, не должно образу его молиться! — заключил солдат, проливая слезы. Как ни убеждал его архиерей, но солдат согласился только не ставить свечи перед портретом Петра, но оставил его с образами (Анекдоты о Петре Великом, Голикова, стр. 532–535).

После этого как понятна эта песня, которую предание заставляет петь солдата на часах при гробе Петра Великого;

Ах, ты, батюшко, светел месяц,
Что ты светишь не по-старому,
Не по-старому и не по-прежнему,
Всё ты прячешься за облаки,
Закрываешься тучей темною...
.....
Расступися ты, мать сыра-земля,
Ты раскройся, гробова доска,
Развернися ты, золота парча,
И ты встань, проснись, православный царь!¹⁶

Теперь должно нам перейти к личному характеру Петра, как государя, преобразователя и человека. Для этого нам нужно пробежать всю жизнь его и схватить в ней самые резкие черты. Со страхом и благоговением приступим мы к этому труду в следующей статье и постараемся дать почувствовать нашим читателям возвышенную сладость созерцания такой колоссальной личности,

каковою была личность Петра. Созерцание всякого великого человека пробуждает нас от дремоты положительной жизни, от апатического равнодушия в прозе забот и нужд житейских, настраивает сердца к высоким чувствам и благородным помыслам, укрепляет волю на благие действия и на гордое презрение к пустоте и ничтожеству мертвого существования и возвышает наш дух к началу всяческой жизни, к источнику вечной правды и вечного блага... А кто же более нашего Петра имеет право на титул великого и божественного и кто же из героев нашей истории может быть ближе к нашему сердцу и духу?..

